

# ПАДЫШ\* ПРОПАЛ

Рассказ

*Притулилась деревня моя  
К огромному шару земному...*

*(В. Ар-Серги)*

Гоним лошадей, целый табун. Голов сорок, не считая жеребят и однолеток. Многие лошади подкованы, и от их топота дрожат звезды на черном небе. Мы гоним их все дальше и дальше. Мы – это Миклай, Гарань и я – самый младший.

Кажется, прибыли на место! Вот и выпас. Миклай рванул вперед и – шлач! шлач! – взмахивая длинным кнутом, щелчками остановил лошадей.

Ух, ну и красавец же конь у Миклая! Шея гибкая, высокая, спина темным лаком отликает, чуткие ноздри отзывчиво подрагивают, грудь мощная и широкая, бабки сухие, а хвост – вспененная волна за кормой. И кличку Падыш ему дали не только потому, что левая нога до колена бела, а из-за того, что у Туймата, верного сподвижника самого Пугачёва

---

\* Падыш (удм.) – кличка коня с белой передней ногой.

Омея, возглавлявшего у него отряд удмуртов в повстанческой войске, коня тоже звали Падышем. И, как доносят предания, не было у Туймата коня резвее и милее Падыша. И сильнее, и вернее.

Мне представляется вместо вихрастого, в заносенном пиджачишке Миклая – сам Туймат, оседлавший лихого Падыша. И лунные блики, и ранние звезды, и тени деревьев прибавляют к моей фантазии все новые и новые штрихи. Потому-то и нравится мне пасти лошадей в ночном...

Мне б такого коня, мне б скакать на быстроногом Падыше... Нет, нет, не буду, даже мыслями не хочу обижать моего старого доброго друга, моего смиренного Тайзака. Добрый мой конь, добрый мой Тайзак, никогда не сбросит, никогда не укусит, а дорогу домой найдёт в любую погоду, в любой тьме непроглядной, хоть и одноглазый. За долгий свой лошадиный век каждую кочку в округе изучил, каждый пенек.

– Хрум-хрум, – аппетитно звучит над лужком. Мягкие лошадиные губы прихватывают сочную росистую траву. Подрагивающий в черном зеркале небольшого прудка месяц улыбается этому хруму.

Ешьте, ешьте на здоровье, глотайте луговую силу, завтра снова работать: кому-то телегу возить, кто-то под седлом пастуха окажется, кто-то будет волокушей сено стаскивать.

Лошадиные силуэты плывут в тумане, изредка поднимая над туманом головы, взглянут друг на друга и снова склоняются к траве. Вот насытятся и лягут. На одном краю луга – я, на другом, у лесочка – Гарань, а дальше, невидимый, носится на своем неугомонном Падыше Миклай. Сам не знает покоя и коню не дает. Но вот спустя время раздаётся лягушачье тюрлюканье – сигнал Миклая. Пора зажигать костер и отдыхать.

Всё шире круг света у костра, а тьма вокруг все гуще, все плотнее и все больше схожа с дёгтем Тимок агай\*, конюха нашего. Весело потрескивают сухие словые ветки. Вынимаю из пещэра\*\* картошку – и в уголь. Гарань достает свежие шанежки, Миклай – бутылку молока, а следом – толстенную книгу... Так, интересно... что это он там?..

– Давай, начинай, – нетерпеливо придвинулся к нему Гарань, и в полыхах костра яснее стали рыжинки конопушек но его носу. – На чём остановились, не помнишь?

– Мы, Серга, – торжественно обратился ко мне Миклай, – читаем такую книгу!.. Начнёшь – не оторвёшься! Лешак ее заberi!.. Шульц какой-то написал.

– Джеймс Виллард Шульц, – не удержался и блеснул познаниями Гарань, подняв указательный палец. Это прозвучало так торжественно и важно, что можно было подумать, будто он сам диктовал книгу какому-то Шульцу или, на худой конец, был близко с ним знаком.

– Шульц, – сказал Миклай, – долго жил у индейцев Северной Америки и вот написал про них... Книга о великом охотнике – Одиноким Бизоном. Однажды он не послушал вождя племени и убил бизона в запретное время. Зря не послушал. Стадо убежало, а племени пришлось голодать...

Миклай склонился к книге, по лицу его и страницам проскакивают блики костра. И от этого речь его кажется волшебной живой, каждое слово тут же обретает вес и плоть.

...Вот уже и в моей руке ружьё, волосы ветер разметал по плечам, на ногах – лёгкие мокасины, под седлом – молодой быстроногий Тайзак. Вместе с Одиноким Бизоном я мчусь по бескрайней прерии. Враги то и дело возникают из тьмы, окружают, но рука моя по-прежнему верна, а глаз меток...

В ближнем леске гулко ухнула сова, и тут же раздалось как бы мяуканье, переходящее во всхлипывание. И всё в одном месте. Хороша компания! Сова да филин – на простофилин... Звали вас? Лошади, встрепетавшись, успокоились. И мы вновь повернулись к костру.

\* агай (удм.) – уважительное обращение к старшему мужчине.

\*\* пещэра (удм.) – удмуртская сума наподобие заплечного ранца.

– Надо бы пристрелить его – Фильку глухого, – воинственно заявил Гарань и вытащил поджиг. Ого! Вот это да! Оказывается, у него и поджиг есть!.. Почти что пистолет!..

– Да ладно тебе, – сказал я примирительно, – он же не виноват, что у него такой голос. Да и как его найдешь в темноте? Что иголка в сене... Давай-ка лучше картошечку попробуем, кажись, поспела. Налетай! А книгу потом дочитаем, вон сколько еще ночей у нас впереди!..

Только теперь я догадался об истинном значении ремешков, что перехватывали волосы на лбу моих друзей – индейский гурам, и сам стал подумывать, где бы раздобыть и себе такой же!

А картошка из костра – объеденье! Кто не пробовал, много потерял. А если к этой горячей, хрустящей, пропахшей дымком картошке добавить далекий свет перемигивающихся на черном небе звездочек, пересвист ночных птиц в ближнем леске, настой цветочных запахов, доносимый мягким и теплым ветром, журчание недалекого ручья!..

– Хург – фру! – выдыхают лошади, жеребята елозят, тянутся к материнским сосцам, устраиваются потеплее и поудобнее.

– Пойду-ка, – говорит Миклай и вынимает из старой школьной сумки хлеб, – проведаю Падыша. Какой-то он сегодня не такой, беспокойный, чуть даже укусил меня!..

Миклай исчез в темноте, Гарань дремал, уронив голову на грудь и не выпуская из рук кнута. К огню приблизился Тайзак. Я его и не стреноживаю, далеко не уйдет. Постоял, пощекотал мне подбородок бархатными губами: хлеба просит. Любит старичок хлебушек. А если еще и шею при этом почесать, так и вовсе от удовольствия глаза зажмурит.

– Падыш пропал, – внезапно вынырнул из темноты встревоженный Миклай. Тайзак, словно он был в чём-то виноват, тут же отпрянул в сторону.

– Как пропал? – встрепенулся Гарань и протер глаза.

– Да вот так. Нет нигде!

Миклай нервно обошел костер.

– Может, убежал к Якшурскому табуна? – предположил Гарань. – Недалеко ведь, версты три, в Ильинском логу.

– А может, цыганы-конокрады? – вставил я.

– Какие там цыганы! – досадливо, как от комара, отмахнулся Миклай.

– Их с роду тут не бывало... Куда ж все-таки Падыш девался? На нём бригадир ездит, до завтра не найдем – пропали!..

– Так ты ж его стреноживал, кажись! – удивился Гарань.

– Ну да, уздой!.. Действительно, странно... Сделаем так. Гарань, ты останешься здесь и отвечаешь за лошадей. А мы с Сергой – на поиски. Дай-ка, Гарань, запасную уздечку!..

Сперва подались в Ильинский лог. На востоке уже аела тонкая, с лезвие бритвы, полоска. Табун соседнего колхоза нашли быстро. Когда спускались в лог, наши лошади зафыркали, в ответ заржал вожак чужого табуна. Нет, Падыша здесь не видали. Пастухи, такие же, как и мы, ребятя, только плечами пожимали!..

– Ладно, будем искать по мелким ложкам, – решил Миклай, – сперва в этом! Ты – слева, я – справа!

Он тронул пятками свою лошадь и скрылся в зарослях.

Мой Тайзак, словно понимая важность происходящего, храпнул и, забыв про старость, сыпанул галопом. На тяжелые работы его уже не берут, и он подкопил силёнок. Он мчался, а я репьем вцепился в его гриву. Нас, деревенских, этому учить не надо. Но где же Падыш? Может, у Белого родника? Со страхом веду Тайзака в заросли. Говорят, когда-то давным-давно здесь царский урядник застрелил сбежавшего от армейских истязаний нашего парня. Даже имя его сохранило предание – Зизми. И с той поры плачет-надрывается где-то поблизости от этого места его душа... Вода же в роднике холодна и прозрачна. И называют этот родник в народе Белым. Зажмурившись и от страха втянув голову в плечи, я, что есть силы, уру:

– Пады-ыш!

Но звонкий мой крик сразу же тонет в густом ольшанике, что покрывает склоны лога. С замершим сердцем, боясь обернуться, покидаю лог. Не видать ни призрака, ни Падыша. Жаль!.. Мне сразу же предстало укоризненное лицо бригадира Конда агая: «Эх вы, и доверить ничего вам нельзя...» Наверху увидел Миклая. Понур и печален. Значит, и он не нашел Падыша...

– Пады-ыш! – раскатываются над округой наши голоса, и ржание Тайзака вторит им: – Пады-ыш!..

– Может, он домой ушел, – без всякой надежды говорю я.

– Делать нечего, надо проверить...

Вот уже и конюшня колхозная видна. Ярko проблескивает в окнах электричество. Привязываем коней и заходим. Встречает нас Орткемей Тимок, старый, но главный по лошадям. Реденькая седая бородка всклокочена, но широкие, с заплатой на заплате, военные галифе придают ему начальственный вид.

– Что за муха вас укусила? – усмехнулся он.

Миклай тоскливо взглянул на меня и выдохнул:

– Это самое, Тимок агай...

– Что – это самое?.. Отвечайте чётко и ясно, как нас Жуков учил на войне.

Большие его усы грозно задвигались, но под усами вновь мелькнула незлая усмешка.

– Падыша потеряли, чертенята?

Мы от удивления раскрыли рты: «Ну и старик! Насквозь видит...»

– Пойдёмте, – сказал он.

Вышли на огороженный широкий двор. Летний тёплый ветер ударил в лицо запахом кизяка.

– Вот, – Тимок агай указал узловатым прокуренным пальцем.

У самой изгороди стоял наш Падыш, а рядом – молодая рыжая кобылица. Между ними дрожал на своих тоненьких ногах-ходульках очаровательный жеребёнок.

– Фу! – радостно выдохнул Миклай.

– Звездочку-то я нарочно придерживал. Смотрю, пора ей жеребиться. А в полночь – глядь! – Падыш стрелой летит, да как сиганет через изгородь... Аж прясла сломал. Да, думаю, отцовское сердце – не камень, чует. Конь, а понимает лучше некоторых людей...

Первые солнечные лучи ласкают жеребёнка. Первые лучи первого в его жизни утра. А рядом – отец, высокий и сильный Падыш, тут же – мать, ласковая Кизили – Звёздочка, которая заботливо вылизывает сына... Все смотрят на них восхищенно и Солнце – наверное, тоже. И ветерок – тёплый, ластится к ногам жеребёнка...

– Вылитый отец! – зачарованно шепчет Миклай.

– Ладно, ребятаки, пойдёмте, не будем мешать, – говорит Тимок агай. – Еще взглянем тут – тьфу-тьфу...

И словно только сейчас замечает нас Падыш, высоко и гордо вскидывает голову и ка-ак заржёт! И ржание его разносится по всему освещённому утренним светом Божьему миру.

## ЧУЖОЙ

### Рассказ

Пришлого человека деревенский народ с первых же дней всесторонне исследует, не слаб ли насчёт этого – самодельного или купленного за красненькую, характером не гордец ли, на работу сноровист или нет, да и в кармане хорошо ли у него хрустит... – аль совсем молчит денъга. Смо-

трят люди на него и друг с дружкой мыслями делятся. А сам приезжий ни одного, конечно, слова пока о себе не услышит, до поры...

Ну, а если он держится особняком, и всю ночь горит у него свет в окне – ему сначала удивляются, потом перемигиваются друг с дружкой, а потом недолго бывает и до насмешек. По-деревенски хлѣстных, звонких и не одним автором продуманных.

Именно таким человеком стал Георгий. Имя его узнали, когда он писал в конторе заявление о приеме в наш колхоз. Георгий-то Георгий – да больно уж честь велика! Ибо добиться новичку в старинной удмуртской деревне, со своим укладом, права ношения собственного имени – это не так-то и легко. И для начала пускай попользуется прозвищем – Тури, Журавль. А там видно будет... А прозвище, между прочим, не случайное, так как он журавль и есть: длинный, голенастый, а при ходьбе руками машет, как крыльями – видали, да? В общем, Тури он и есть Тури, другого имени ему нет – пока. А там уж как себя покажет...

Поместили Тури на квартиру к разбитной вдовушке – Анисье. Была она резва на язык, недурна собой. Но не повезло Анисье на мужа. Золотые руки имел, да сгубила горькая. Вот уж третий год вдовствует Анисья. Несладко, конечно, ей. И дров запаста, и сена накосить, и животину держать. Какое же хозяйство без мужичьих рук? Бригадир подумал над этим и с дальним прицелом определил агронома именно к Анисье. «Ну, – решили деревенские кумушки, – раздобреез теперь Анисья-то...». А мужики поглядывали с хитрецей. Но прошла неделя, и Анисья все хорошие и нехорошие подозрения разом и развеяла.

– Э-э, бабоньки, чѣ и подумать-то, в голову нейдет! – выдала она разок у магазина самое сокровенное, – да чего это за мужик-то? Одно слово – Тури! Вроде бы с виду-то ничо он... Да ладно, с лица-то воды не пить. И не пьет, и не курит, ну? А на меня – ноль внимания. Всѣ только по батюшке – «Анисья Павловна, Анисья Павловна, тыры-пыры, тыры-пыры». И краснеет, как девка. И чего-то всѣ пишет. Пишет, пишет, потом вскочит – туда-сюда по избе, и все порвѣт. Что за человек?

«Хм»... – многозначительно посмотрели тогда домовитые хозяйственные мужики друг на друга. Взгляды деревенские обкатаны многими водами многих жизненных рек – нет, не глянулся деревне новый агроном. Во-первых, семьи у него нет, а что за справный мужик будет, раз четвертый уже десяток разменивать начал – а ни кола ни двора, ни жены, ни детей. Да и с Анисьей, посчитали деревенские во-вторых, можно было бы и почеловечней. Не шалава ведь какая... Не-ет, вроде бы и работает новый агроном нормально и с человеком поздоровается вежливо, но взгляд у него какой-то нездешний. В общем, не понравился Тури деревне, и всѣ.

...А тут и Новый Год подоспел, а за ним – ряжения. Мы, деревенская молодѣжь, обрядившись во что попало – на одном вывѣрнутая шуба, у другого рога, третий и так на черта похож, никого не узнаешь, – весь вечер ходили из дома в дом, желали хозяевам доброго урожая. С благодатью да со здравием! Бесилась гармонь. Бесился ветер, пиная проплешины сугробов – но разве до него по такому веселью? Да и месяц нам весело подмигивает, то и дело выбегая из-за рваных туч.

А настроение самое отменное! Под валенками задорно скрипит снег. Девушки одна другой красивее. Всех бы обнять – да убегают! Наверно, по всем домам прошлись. От лихих плясок уже и ноги дрожат – устали. С шутками, песнями, прибаутками вышли к околице. Огляделись. Лишь в одном доме горел свет – у Анисьи.

– Парни, девчонки, айда и к Тури зайдем! – предложил кто-то.

– А что? В нашей деревне живет – пусть уважает! Пошли! – поддержали дружно.

И вот человек десять, громохая по лестнице, зашли мы к Тури. Дверь широко распахнулась, сглотнув клубы пара. Тури сидел за столом, сторбившись, и что-то писал.

– Славьтесь, хозяйева! Как живете – хлеб едите? – хором поздоровались мы. Тури удивленно привстал. Наверно, перепугался.  
– Заходите, заходите, – неуверенно промолвил он.  
– Славим хозяев, счастья желаем, пусть хлеба ваши до пояса поднимутся, а стогам терялся счёт!  
– Спасибо, спасибо.., – потом спохватился, – да что же я расслаживаюсь-то тут! Я сейчас, сейчас же, – устремился он в кухню и начал там чем-то греметь, шуровать.

А я подошел к столу и присмотрелся: ма та-та! да это же стихи! Значит, Тури стихи пишет! Упадешь – не встанешь! И не подумаешь ведь! Хотя – кто его знает, сундука с потерянным ключом... Читаем... Что там?

*Белый, как птичье перо,  
Волос нашёл я у себя –  
Первый в моей жизни...  
Перо к перу – будет крыло,  
Годы идут – куда мне лететь?  
С кем мне лететь?  
...Вырастают крылья...*

– Фи-и-уть, – длинно присвистнул стоящий рядом товарищ. Рукой в несмываемом тракторном мазуте тронул он исписанные листы, – значит, наш Тури – Пушкин...

Тури выбежал из кухни, в руках – разные тарелки, кружки.

– Садитесь, садитесь, ребята, ешьте, пейте! Вот солёные огурцы, грибы, – суетился он, может, и радуясь, – а Анистья Павловна в гостях... Ушла, значит.

Рванул мехи гармонист. И полилась плясовая.

– Эх, парни-девки! Спляшем-споем нашенскую!

Все ринулись в узкий круг. Эх, и топочут-щелкают! Но вот кто-то задел этажерку – все книги бухнулись на пол. Кто-то толкнул тарелки на столе – они звякнули, посыпались, звонко разлетелись в осколки. Эх, не до тарелок гармонисту! Быстро бегают его упругие пальцы по кнопочкам.

*Эх, красивы ж мы, красивы.  
Эх, красиво пляшем мы!  
Как лягушки с бережка –  
Дрыгаем мы ножками.  
И – эх!*

И Тури застыл в удивлении. Молчит. Молчи, ёк-макарёк! Вот тебе, на тебе, рифмоплет ты агрономический! Уважай! Уважай нас! Смотри и учись, коль без году неделя тут.

И вдруг гармонист смолк. Все смотрят на Тури. Обречённым влажным блеском моргают его глаза. А потом, отшатнувшись, как от удара в грудь, он закрыл лицо руками и выбежал из дома. Без пальто. На улицу. В январь.

– Тури, да ты чего, не дури!

– Мы же пошутили только! Эй, поэт, вернись!..

– Ай, да чего с ним будет! Остынет – зайдет. Не пьяный ведь, – отмахнулся кто-то.

Но веселье испортилось. Настроение подсело, потихоньку, в полголоса переговариваясь, пошли по домам. Да и месяц спрятался куда-то. Ветер стал еще крепче, теперь уже холодный и злой, пронизывающий.

Назавтра я повстречал Тури в колхозной конторе. Мне нужно было сдать путевые листы. «А Тури заявление об уходе пишет», – пояснила мне молодая девушка-бухгалтер. Аккуратно поставив точку на своем за-



явлении, Тури встал и тяжело шагнул к двери. Прямо перед выходом он быстро обернулся и проговорил хриплым голосом:

– Это сегодня вы ряженые. А вчера, вчера... вы были в настоящем вашем обличьи! Прощайте...

И тогда я застыл. Надолго. Тури уехал из деревни неизвестно куда.

...Многие вовсе забыли незадачливого пришлого человека. А некоторые вспоминали – со смехом или с равнодушным удивлением. А у меня по сей день горит лицо со стыда. Где ты сейчас, Георгий? Слушай, ты не сердись на меня, на нас. А годы идут. Вот и в моих волосах появляются белые перья. А крылья...

## ПОСЛЕДНЯЯ КОМАНДА

(Письмо фронтовика)

Здравствуйте, писатель Ар-Серги, получил ваше письмо. Получить-то получил, а потом куда-то потерял, потом нашел, а потом снова потерял. А недавно у Матрёны (это жена моя была, царство ей небесное – в прошлом году померла) в бумагах рылся, справку какую-то искал, для пенсии, само собой. И там обнаружил ваше письмо.

Погода у нас потеплела, а зелень еще не выскочила... По таким погодам люблю я посидеть у себя в огороде, под липонькой. Совсем еще шкетом посадил я её, ну и она – липонька моя, совсем уж застарела. Под липонькой у меня стол, а рядом седалище вкопано. Сел вот так, ветра нет. Дай, думаю, напишу-ка я письмо Вячеславу, дорогому нашему писателю Ар-Серги. У детишек моих видел ваши книжки. Да и по телевизору я вас тоже видел – в очках такой, с усами. Что-то схожее с нашим комбатом – лицом, де... Погиб, бедняга, под Кёнигсбергом, несколько лишь деньков до Победы не дожил. Сколько же ему было? Лет двадцать пять, что ли... Да нет, пожалуй. Как затишье – он все за букашками бегал, за бабочками. Биологом был. Вот так и напоролся на мину. Бабочка, значит, прямо к смерти его и привела. Пусть спит покойным уж сном на том свете... Хороший был командир. Сам-то то ли немец был, то ли латыш. Хотя, вряд ли: из тех в офицеры не ставили. Но фамилия его была Розен.

Особисты ведь очень чутко следили за национальностями. Друг у меня был балкарец, семья в ссылке – так его не поставили даже сержантом. А уж снайпер то был хорош! Глаз орлиный.

Ну ладно, все время отвлекаюсь от сути письма. Писать-то – это я могу, Давненько уж, правда, но приходилось, пописывал в нашу в районку-то, в бригадирскую свою бытность.

Стало быть, продолжим. Люблю я побеседовать. Только люди вот какие-то другие пошли – все бегут куда-то очумело. А может, это я просто лишько постарел, под липонькой-то сидючи? Ну, что ж... Вот вы спрашиваете – что более всего осталось в моей памяти от войны? Трудно на этот вопрос ответить, товарищ писатель... или как вернее, господин писатель, да? Все в жизни ноне перевернулось. Вот мой дед в свое время, до революции, стало быть, держал пять лошадей. Все хозяйство его, понятно, разгромили, самого, именем трудового народу – в Сибирь. Вернуться-то вернулся он отсюда, да дожил-то самую чуть. Всё лежал на печи да шептал, бормотал про себя клички своих лошадок, по русски да по удмуртски: Белолобый – Тодь Кымыс, Белоногий – Падьш, Серп – Сюрло, Яр – Яр же, Серко – Пурьсь... С этим шёпотком и скончался мой дед. Кто он был – товарищ или господин? Дед мой, и все.

В общем, два года довелось мне воевать. Сапёром. В день их столько, этих мин – что катышков после овечьего стада. А сколько мостов навели... Это уж не я их подрывал, до меня работали, другие. А вот что

же, интересно, самое памятное в этой войне было для меня? Тяжёлый вопрос. Холод, вши, глина, кровь, незащитность маленького человечка – рядовой перед начальством, муха – на ладони... Многих, многих друзей схоронил-закопал я в разных землях: и Христовых, и советских, и Магометовых, и других... Федоров – коми, Асенбаев – башкир, Жалдубаев – казах, Чабукидзе – грузин, Отоев – бурят, Васильев – чуваш, еще Васильев – мариец, Загоряну – молдаванин... А русских парней сколько было – Ивановых, Петровых?! Прости мя, Господи... Мы никого не делили по национальностям – это правда. Это сейчас толстопузы всех разделяют. Ну, да и на них, глядишь, будет суд Божий. А пока – мы под ними, дураки разделённые...

Война, Ар-Серги, это нудная и тяжёлая работа. Работа до кровавого пота. А заработок – или пуля, или сто грамм старшинских. Вот такие они, военные трудовни. По пояс в болоте, в снегу, хороня друзей, ползли мы к Победе. И доползли, некоторые. Страшной ценой... Голова кружится от этой цены.

Ну, а самое запоминающееся... Ну, конечно же, последний день войны. А самое главное – последняя команда. О победе мы узнали в Восточной Пруссии. У Балтики. Море, волны – все красиво, а на берегу – разбитые танки, трупы, запах гари и мертвечины. Ротный построил нас и сказал:

– Друзья мои! Мы победили. Баста! А теперь – по домам.

И заплакал. Пожилой мужик. Всю семью его в концлагере сгубили... А мы – молодежь, запрыгали, начали в воздух палить. А потом – шнапс. Сбежали в соседний хутор с другом. Там заодно переспал с какой-то дамочкой... Да сама и затащила к себе безусого меня... Лет под тридцать, роскошная была. А по правде говоря, первая в моей жизни женщина.

– Рус зольдат гут., – вкусно так тянет, в голосочке – со стонцей ленивенькой. А я говорю:

– Рус зольдат нихт, – и мы ведь кое-что знаем, – Удмурт зольдат!

– Удмурд зольдат гут! – смеётся, а сама прижимается, ластится, как кошечка сытая. Постарше меня – ишло в самом, значит, соку. Красивая. Огнём целует, ёк-макарёк! Ух! На сеновале. И сено – душистое, предушистое, как дома. Эх...

Нет, кое-что я повидал, Ар-Серги. И если говорить о женском народе, то скажу прямо – всё равно лучше своей удмурточки на свете нет. И не будет. Я свою Матрёну ни на кого бы не променял. В святые, конечно, не гожусь, но всё же... Это вот такая моя мысль.

О чём это я? Ах да!.. В общем, после месяца дёрганий-передёрганий отпустили меня домой. Эх, ёк-макарёк, сердце из груди рвётся! Гостинцев кой-каких набрали, сели в теплушку и – нах Урал! Нах хаузе!

Вернулся. А в деревне-то уж другой ёк-макарёк! Одни бабы – и на ферме, и на полях. Сестра старшая на стройке железной дороги испростыла и умерла. А мне не писали на фронт – жалели, понимаешь... Ох ты ж, Боже мой... Ну, вернулся. Совсем молоденький. На груди два ордена, медалишки и нашивка за ранение. Орёл! Девушки, вдовушки млеют глядячи. А в мире – лето. Тепло, красиво. Были это, пожалуй, самые счастливые дни в моей жизни. Живой... Ведь живой вернулся! На фронт мы, погодки, вдсятером уходили, с деревни. Вернулись – трое. Только уж несколько лет спустя Пильып с Онтоном вернулись. Один в Германии дослуживал, другой после ихнего концлагеря еще и в нашем посидел, подумал о жизни. Вот так.

Удивительно вот что: на фронте все мне родные места, деревенька снилась, а пришел домой – всё фронт. Мины вроде рвутся. Воют... Сколь раз в одном беле во двор выбегал.

А ка-а-ак мы загуляли! С обеда до полуночи всё гостевали с дружками по окрестным деревням. Всю родню проведали. Педор, корешок наш, на гармони наяривал. Так потом и спился. Спился, и все тут... А Микта вернулся с фронта с одной рукой. В Румынии где-то осколок ему повстре-



чался... Вот так и ходили, втроем. Односельчане – ничего, улыбаются. Лишь бригадир временами зыркнет, но молчит. Ну, а девушки... И вот в одно утро вбегает ко мне сестренка Онся и говорит – Максим, дескать, вернулся. О-о, Максим агай! Обрадовался я – не сказать! Ведь на него аж две похоронки приходили домой! А он где-то партизанил, оказывается. Лечу к нему: стоит посередь двора как есть – Акмаров Максим, улыбается. А на груди – такой иконостас! И иностранные медали есть...

Обнялись. Максим агай, родня, лет на десять старше меня. Женат, двое детей, мальчик и девочка. Крепкий мужик... Вернее – был крепкий: его, бедного, в пятидесятые годы тоже скрутили. На собрании, что ли, слово какое вырвалось об усатом Хозяине, или секретаря райкома обругал... не знаю. Меня не было. А мужик исчез. Исчез, и все... – ночью темной увезли. Ну, а тогда, вот он – Максим агай! А тут Микта с Педором подошли. Сели за стол... И куда только война не закидывала, оказывается, Максим агай! Действующая, плен, партизаны, снова действующая. А Победу-то уж в Москве, в госпитале встретил.

Сидим. Поём. И по сей день эта песня во мне звенит.

*Широкая тенистая дорожка:  
Средь поля проложена.  
Горбатые старые берёзы –  
По обе её стороны.  
О чём думая, сажал эти березы  
Старый мой отец?  
О чём думая, поливала их корни  
Матушка моя?*

*(здесь и далее: подстрочный перевод с удмуртского Вячеслава Ар-Серги)*

Слышу эту песню, товарищ писатель, и сейчас же во мне что-то будто переворачивается. А по Удмуртскому радио её почему-то редко передают. Самая что и ни есть она – народная, удмуртская, много уж в ней веков, а всё ведь в ней – о нас да о нас... Вы там, я полагаю, человек известный, поговорили бы, пусть передадут уж её нам по радио как-нибудь. Ну, а если нет, сами споём. На всю деревню на сегодня числятся фронтовиков – пара душ. Вот и наш дуэт, так сказать.

Для ясности надо пояснить тут и вот что: отец у Максим агай, Тяпок-крёстный, был очень крепким пчеловодом. Держал он на реке Позимь пасеку, за полсотни ульев. Колхоз его пасеку обобществил в своё время, но Тяпок так пасечником и остался. Знал он пчёл, язык пчелиный знал. И курил ведь беспрестанно, и наш арапы-самогон попивал, но ни одна пчела его не трогала. Удивительно. И рои у него не разлетались. Борода лопатой, на лысой башке и зимой и летом заячья шапчонка... Так по сей день и стоит перед главами.

Так вот, Максим наш, значит, туда-сюда ходит по двору. Жена его, Марьёк, понятно, тоже бегает. Ласточкой носится... И вдруг...

– Мужики! – восклицает вдруг Максим агай, – а ну, слушай сюда! Есть ли сейчас в колхозе лошадь побеговей?

– Бригадирский Комдив, – сразу же сообразил Микта.

– Ага! Так вот ты, Микта, давай-ка беги и запрягай его. Живо-два!

– Есть!

Микта знает – Максим агай без дела не балаболит. И полетел со двора.

– А что такое? – слабо удивляюсь я.

– По вечеру, брат Тёпо, гости придут. А после и вовсе невпроворот станет. Ну, а это дело надо щас совершить, – обрубил Максим агай.

...Да, Ар-Серги, несколько слов все же надо сказать и о моём имени. Как я догадываюсь, Ар-Серги – это тоже не по паспорту, да? А меня в деревне все называют Тёпо. Тёпо агай, Тёпо кудо – по нашему, значит, дядя, сват. Моему отцу тоже при крещении выдали чудное имечко – Пан-

телеймон. В деревне его звали Паля. А он вдруг возьми да отчебучь для сына еще более заковыристой: Никтополион. Говорят, жил-был когда-то очень умный человек с таким наименованием (по мне – хоть бы он сгинул). Ну и вот, образовалось у меня имя-отчество, язык обломаешь: Никтополион Пантелеймонович. Ну, друзьям, понятное дело, развлечение – Наполеон, дескать. Император, стало быть... Да и бухгалтерам одна мука. В ведомости писали «Ник. Пан.», и все. И сколько я настрадался с этим титулом – отдельный рассказ. Ну а потом что ж – привык. Даже нравиться начало. Возгордился даже – у кого еще такое мудрёное имя-отчество?! Да только у меня, дурака ...Любили, любили, как дьяки царские, так и советские писаря, нашим нерусским-то человекам имена давать – да чтоб позаковыристее, да и посмешнее чтоб... Но не об этом сейчас речь.

Да... Это я снова не в ту степь, Ар-Серги. Но и поговорить, поразмышлять охота. Я уж на самую холку жизни взобрался – надо бы и оглянуться, ведь так? Ну, а теперь продолжаю тему.

– Такие дела, мужички, – чеканит бывший старшина Максим агай. Надо сказать, старшина для солдата – и отец, и мать, вместе взятые. Он и накормит, и оденет, и отчихвостит, если надо. Сейчас, говорят, в армии вместо них – прапорщики. Красиво звучит. Вроде прыщика. Ну, а старшина, все же – он и есть старшина. Старшой, значит.

– Вот такие дела, мужички, – продолжает Максим агай, – как помните, на фронт я ушел в тот самый июнь. А в последний день сходили мы с отцом на нашу пасеку. Так вот, вынул он тогда с подпола бутыль медовухи и сказал: «Это ты выпьешь по возвращении, сынок. За вернувшихся и невернувшихся. И за меня – тоже»... И обратно бутыль – на место.

И повесил голову Максим агай: отца своего он уже не застал. Умер старик, как только пришла первая похоронка на сына.

– В общем, задача такая, земляки, – встряхнулся наш старшина, – сейчас же едем на пасеку! Вызволяем на свет божий посудину и приговариваем её!

Эта речь всем нам очень понравилась. А немного погодя с запряженной лошадью возвертался и Микта. Бригадир, говорит, без слов лошадь отдал – фронтовикам ведь. И поскакали мы по лесной дорожке, по рощице. Кругом зеленым-зелено, а небо... Красоту этакую, я точно говорю, понять может лишь человек, с войны вернувшийся. Вот, скажем, Толстой – ведь как хорошо сказал о дереве... Умно, проникновенно, и без позы Оно и понятно: сам воевал.

Педор наш растянул меха гармони. И разостлалась по округе песня. Над лесами-перелесками, над рекой раскинулась... Переливаясь, как шёлк речной.

*«А как дети наши вырастут,  
В тени этой березы пусть посидят.  
И когда в солдаты уйдут,  
Пусть слышат шелест этих листьев», –  
Так, наверно, говоря, сжал ты  
Белую березу, отец.  
Так, наверно, говоря, поливала ты  
Корни березы, матушка.*

Вот так, с песней вместе и доехали мы до пасеки Тяпока-крёстного, киростая по нашему. До бывшей пасеки, правильной сказать. Пчёлы не гудят. Плетень обвалился. На омшанике деревца проросли. И кругом – по пояс трава. Максим агай осмотрелся и говорит.

– Ничо! Всё поправимо.

А вошли в избушку – вот те раз: в доме чисто-чисто. И пол, похоже, с золой вымыт. Все обстоятельно, глаз радуется.

– Моя Марьёк побывала, конечно, – улыбнулся Максим агай.

Ну, расселись мы по скамейкам, закурили, а он в подпол полез. Ждём. Выходит. В руках – пузатая, большущая бутылка.

– Ур-ра! – грянули мы.

И тут – беда: спотыкается Максим агай! На ровном месте спотыкается, да ведь нога-то нехожаялая, полуживая нога: осколок в ней сидит... А бутылка – трес! об пол и вдребезги! Как средь ясного неба – гром! И мы, этим громом поражённые, стоим и смотрим, как разливается мусур-медовуха, памятка старого Тяпка. Будто сквозь пальцы вода... И не двинуться, ёк-макарек. Наваждение какое-то...

Тут вдарил по нам голос Максим агая, во всю мощь старшинской глотки громыхнул:

– Воздух! Ложись!

...Это страшная команда, Ар-Серги. Кто её слышал под вой штурмовиков, тот не думает – что это, а сразу – в землю червячком... И не ухом слышит – а сразу душой! Он её чует, всем телом, как разрыв бомбы – ударом плети тяжёлой. В полсекунды шлёп! шлёп! – попадали мы на пол и головы руками прикрыли.

А медовуха всё льётся, буль-буль-буль. И Максим агай тут же, на пузе лёжа, начал её глотать. И пить! Только слышно – ордена бренчат. Ну и мы – тоже. Только хаюп-хаюп и слышать, будто щенята... Много, много выпили. Молча. С полу.

И вот тут-то, носом вниз, я понял – да это же была последняя военная команда для меня. Слёзы выступили. И так, пополам со слезами, медовуху я с пола и схлебал. Да и не схлебал, пожалуй, а будто умылся... В общем, горька была та медовуха, хоть и пилаась легко...

Потом кто-то засмеялся. А за ним – все. Такой хохот на нас напал!

– Мужики! – гремит Максим агай, – кончилась война-то, кончилась! Живые ведь! Эх, теперь заживём!..

Еле на ногах, доковыляли мы до телеги. А время – поздненько уж, под вечер... Там-сям звездочки проклюнулись. Лошадка наша всхрапывает, тележные колеса поскрипывают, снова звенят награды на груди Максим агая. А месяц – как... Эх, Ар-Серги, был бы я поэтом – такое бы завернул! Не дал Бог такой искорки. Ну да ладно, нет у меня поводов шибко-то на него сердиться. Всего, вроде бы, мне достало, всё переведал. И плохое, и хорошее... Вот так и ехали мы в деревню...

*Широкая тенистая дорожка  
Средь поля проложена.  
С обеих сторон этой дороги  
Телеграфные провода.  
Как загудит этот провод,  
На душе плохо тебе станет, отец.  
Как зашумят березы –  
Сердце твоё сломится, матушка.  
Не будет уж родного сына,  
По той дорожке, чтоб проходил...*

Инмар понна – Боже ж мой! И кончились для нас военные команды. Лишь песня осталась. Говорят, в песне – душа человека. Наверно, так и есть. А эта песня – вся она соткана из лоскутков моей юности. Слеза выступает, как слышу ее. Эту песню и Максим агай тоже любил... Да, не смог я ему помочь в трудное время. Не было меня тогда в деревне. Ну, а как помог бы ему, если б был? Сел бы рядом, что ли? Да хоть бы уж и так...

В общем, такие дела, Ар-Серги. Самое, стало быть, запомнившееся во всей войне для меня была последняя команда Максим агая. А песенные строчки я тут нарочно переписал, чтобы самому как-нибудь не забыть. Хотя такие песни не забываются. Глядишь, услышишь когда, Ар-Серги, песню-то, и про меня вспомнишь.

А если дорога как-нибудь к нам выпадет – заходи. Моя невестка первачку выставит. «Роялями» зарубежными не занимаемся, ну его к хрену, спирт этот диверсантский. Сколько уж мужиков в округе от него очоурилось. Ёк-макарёк! Немец сколько с нами воевал – хрен ему, а его спирт в три месяца всю страну одолел. Вот ведь! Кто нас довел до этого? Я, старый солдат, не раз в рукопашную ходил, и сейчас рука не дрогнет на врагов наших. Да где они? Покажите! Все чистенькие, богатенькие, сытенькие, в кустюмах, все улыбаются, все – за народ! А мы всё – в куфаечках дедовских... Долгая это тема. Зайдёте – поговорим. А на этом – до свидания, дорогой мой Ар-Серги. По почте получил вашу недавнюю книжку. Летом читать некогда, а зимой – конечно, очки наденем, почитаем.

Под картошку в этом году сам уж не смог вспахать. Ноги ноют. Сын вспахал.

Ну, до свидания. Не пойму, себе я это письмо писал или вам. Да ладно, время будет – прочитаете.

С уважением гвардии ефрейтор: Иванов Никтополион Пантелеймонович.

*ПОСТСКРИПТУМ АР-СЕРГИ.* Вот такое письмо я получил. Кое-что подредактировав, решил показать его и вам, читатель. Поскольку недавно получил я еще и телеграмму – похоронили Тёпо агая. Вечером, говорят, лег спать, а утром не встал. И посышалось мне:

*Широкая тенистая дорожка  
Средь поля проложена.  
Горбатые старые березы –  
По обе её стороны...*

## НИТЬ

### Рассказ

Сидел он рано поутру у изголовья матери, умирающей, уходящей по вечному пути – вниз по реке жизни. Свеча её жизни еле колебалась на ветру. А ветра не было в глухой палате. То были вдохи и выдохи ее – хриплые и безнадежные. Натруженные пальцы рук старой женщины судорожно теребили конец простыни на груди, будто бы отщипывали шерсть с веретена. Может, ей хотелось и дольше прясть свою жизненную нить. А может, просто закончить начатое дело. А нить судьбы её уже обрывалась, хоть не такой уж длинной она и была.

– ...А домовину мне сколотите сами. Обратись к Ондырьяну – плотнику. Руки у него золотые. Сделает гроб мне, как лодочку. Лёгкую и сухую. Без сучков. А за трупы отдай ему пенжак отцовской... Царствие ему небесное – Поликарушке... Нефартовому, да путёвому. Умнее его – дурака, и не было у нас в деревне. И на работе, и на пирушке – везде был первый.

Он слушал материнскую речь сторбившись. Будто брёвна падали на его спину, слова матери – тяжёлые и неподъёмные. Застилало глаза. Но слёз не было. Сквозь марево он будто видел свою мать на лугу. Красивую, молодую... Вжич! Вжич! Жьуч! Пела острая коса в её руках. Тонких, но сильных. Твердых и теплых.

Цветы луговые со вздохом падают к её расставленным ногам, каждым пальцем вбирающим силу земную. А солнце почему-то зелёное, небо – розовое. Лишь река голубела вдали воронёной сталью. И слышал он сейчас на голове своей седоватой все пять пальцев ладони материнской шершавой – большой, указательный, средний, безымянный, мизинец. Слышал, а понять о чём говорят – не мог.

– В землю положите с бабушкой твоей рядышком. Авось, и встретимся там с маманюшкой – анаюшкой. И настелите хороших полатев, чтобы земля не сразу осела. Боязно ведь... Копать позови мужиков нашенских: Микола, Очя и Юбера. Хваткие они. И роду нашего ж – Шудья. Сразу им не наливай. Это уж потом угости, одари вещичкой памятной. Не то рушничком малым, не то носовичком – и то...

Большая муха покружила и лениво села на его руку. Откуда она здесь взялась? Но руку свою он не отдернул. Хотелось, чтобы эта муха была пчелой и ужалила его. И тогда он побежал бы к матери. Жаловаться на боль. И подула бы она нежно на ужаленную руку, намазала бы настоем клея того же пчелиного, разведя его в капле мутного первача. И стало бы легче.

– А саван пусть сошьёт мне Дыдык апай. Имя и руки ее – голубиные, легкие и добрые. За работу же отдай ей платок оренбургский, что ты мне с армии привёз. Не жалея. Не повязать уж мне его на голову. А Дыдык апай долго ещё будет носить... Хотя и старше меня, но жилка в ней крепче. Сердце у неё сильное, не в пример моему – корявому...

Теперь он видел платок тот оренбургский. Тёплый и добрый. На экономенные солдатские деньги купленный. И потому – ох, дорогой.

– А на сороковины всех собери. Никого не обдели, слышь? Каждому что-то отдай, хоть мелочь какую – и то... А то не по-людски будет. Сам не пей. Это уж как поминальщики уйдут – тогда можно. Денег возьми у Микты кудо – кума нашего. Я ему оставляла на похороны. Должно хватить. Скромно. И на церкву тоже... Сынок, связала я тебе носок один, второй вот не успела. А куда же я заготовку вторую девала? Первый носок – в сундуке. А где же недовязанный?

И снова теребила пальцами по простыне. Будто пряла нить шерстяную. Но уж с грохотом-громом захлопнулись крышки древних сундуков – упали веки умирающей. И замерли руки её. Как у Матери Божьей, образ чей лежал на груди материнской, считай, уж с неделю. Крохотный такой, с детскую ладонь.

Он встал и посмотрел на нее – вдруг построжавшую. Хотелось залпом запихнуть в себя стакан белой и тут же занюхать её хлебной коркой. Но матушка не разрешила. И тут он услышал шёпот. Откуда?

– Семью свою береги... А обо мне не тужи, бедный ты мой. Сирота ты теперь круглая... Обо мне не убивайся шибко, а то мне тяжело будет уходить... Отпусти меня хорошо... Не я – первая, не ты будешь – последним. А нить – останется.... Остэ Инмаре – Святый Боже...

А за окном, как усталый мерин, понуро стоял октябрьский день. В больнице пахло палыми яблоками. Как ладаном.

Приторная сладость разливалась по казенным углам и обволакивала их и его, как матушка в детстве – в пелёнки. Из ткани белой. Шерстяной. И не разорвать уж объятий той ткани вовек.

Яблоки падали где-то в прелые листья. Яблоки падали в прелые листья. Тук! Тук! Тук!

## **БАБКИНЫ ПАМЯТКИ**

### Рассказ

С детства привычкой маюсь: всё бы мне за работой насвистывать да насвистывать... Что вилы в руках, что топор – свистать бы мне да по-свистывать, и на – поди...

– Ох-ма, мелкий ты негодник! Ведь всю удачу свою да талан и вы-свистнешь так, – журила меня бабушка, – дело-то, оно ведь, соловушко, заботой, а не свистом детсяя.



– Ай, пещанай – бабулечка моя... Мне ведь, мне мою работу делать – что со свистом, что без него! И у всех так-то: абы справился, а то почему кому какое дело, кто помог, лешак или бог, – ерепенился я.

– Не юродствуй, неслух! Не нами обычаи заведены, деды-прадеды нас не глупее были, всякой весточке знали местичко.

...Добро бы, если бы она все это мне только в уши пела. Нет, она и за уши не против. Гнал я как-то скотину с луга да и, заслышав жаворонка, серебряную капелюшку, и сам: фюить-фю-ить! Тьох-тьох-тьох! Жир-жир-жир! – руладами-то да переливами... Душа поёт! Вот, кажись, тронь кто рядом баян лихими переборами, либо гитарой зазвени – не плоше того высвищу.

Словом, хоть некому было, кроме ярок да коров, мой дар божий оценить, увлекся я. Утратил бдительность. А бабка-то, едва вошел я во двор с самодельной своей музыкой – цоп! меня за ухо! Пошла мотать моей головой из стороны в сторону – аж слёзы у меня брызнули, а она приговаривает:

– Дак, ты что, дитёнок? Да это кто же скотину свистом погоняет, над живой душой ее изгаляется? А что старики говорят? А надо их слушаться или нет? Будет этому конец, будет, будет, будет!?

– Бу-у... – в голос залился я, и бабкины пальцы разжалась.

– Смертней смертного грех этот, – объяснила она мне позже, когда я, управясь со слезами и блюдцем выставленного на мировую медку, ощущал вспухнувшие свои «лопухи». – Посвисти около скотины – и ослабнет она, от чужого сглазу пропадет. Настырный ты... Ну, ладно, ворота по-своему, да только тогда, как старших, как предков наших, умом-разумом превзойдешь! А разве это возможно, сообрази-ка сам, чтоб больше самого Шудья, основателя древнего нашего рода, знать да ведать... То-то, мол!

Оценив в буквальном смысле ушами бабкину науку, скотину я больше свистом не погонял. Но, видать, и бабка о святотатстве моем помнила крепко и все время поджидала рецидива, не спуская теперь воспитательного своего ока с меня повсюду, где только могла меня им достичь. В том числе и на сенокосе.

Дело это в деревне самое общественное: стар и млад на лугу. Без моей бабки куда ж? С литовкой-то уже тяжеленько ей, а ворошить траву – в самый раз. Я ж со старшими стог мечу, и уж доволен да горд – слов нет! Штука тонкая, не всякий гош, а мне вот доверили... Жаль, бабка издали бдит. Так и целит глазом, как курица на червяка. Думает, невдомек, что она там себе про меня соображает. Ха-ха! Да то и соображает: ах, испортит, шайтанёнок, всю кашу, забудет, что говорено: не свисти, разбудишь большую грозовую тучу, что спит за Утар-лесом...

Этой самой тучей она мне вчера вечером просто дыхнуть не давала: приманишь да разбудишь, не свисти да не свисти. Больно надо! Гляди лучше, бабуль, какое сено славное, цветком да листком перевито, да суховито, да духовито... Фиу-лиу-лиу... Да как работа спорится... Тьох-тьох-тьох... Вжир-жир-жир! Как душа поет... Фью-фью-фью... Тьфу ты, леший! Это ж надо: все-таки не удержался я, засвистел втихомолку, для самого себя неожиданно.

А скирда-то на глазах пухнет, прёт из-под земли, как тулово здоровенного гриба, выше и выше. Теперь односельчане вокруг неё мурашками снуют. И все бы любо-дорого, только небо с чего-то притуманилось, тенью подёрнулось, и дохнуло из-за Утар-леса пронзительным холодком. А потом сухо так зашуршало, словно две ржавые железяки друг о друга потёрлись. А вот и глухо охнуло, вот и прогремело вдали. И словно пошла пыхтеть в огромном котле спеющая каша: бултыр-бул-тыр, плюм-плям... Вот она, туча-то, выставила из-за леса голову свою тяжелую и литую, словно из горячей смолы только что отлитую. Бычья голова эта устала на нас сухие свои, кровью налитые глаза и взревела: «Му-у... Мне спать не давать? Со-кру-шу-шу!».

– Суседи, поворачивайся, етить! Не хватить бы нам дождя в сенцо, – Лепон, бригадир наш однорукий, машет рукой; сам вилы, словно ружьё, наперевес схватил. Бога и мать пречистую вспоминает, торопит, а туча-бык уже тащится, прёт на наш стог: тра-та-тах!

И повлажневший воздух принялся уже пошвыривать комья сена, свинцовую рябь, а за ней и волну белоголовую по Позими-реке покатила. И песню однотонную запел-затянул в камышах речных, бродяга...

Стог мы все же дометать успели. И едва бросили на него последние навильники травы, как будто лопнул над нами темный войлок низкого неба. Дождь сыпнул крупно и отвесно. Все – кто куда, так и порскнули: под телегу, в гущину кустов, под стог... Хохочут, кое-кто одежду мокрую отжимает. Бабка, понятно, рядышком со мной от дождя таится.

– Ну, сделал свое дело, шалапутина. Доволен ли? – тычет мне в загривок своим когтистым кулачком. Тонкие губы сведены в ниточку. В сердцах, хлётко выжимает свой айшет-передник.

– Да, бабуль, ты что, в самом деле? Далась тебе эти байки-рассказни! – обидно мне, тошнёхонько. – Неужто я коль и посвистал малость, да такую тучищу этим сюда и приманил?

– А кто же еще-то? Ты черов\* взбудил, а они большую тучу под бока растолкали, из-за Утар-леса сюда спровадили.

– Здрасьте, объяснила. Ты, бабусь, меня, как маленького, до сих пор сказками потчуеть. Не они ли и помогли нам так споро со стогом управиться, побасенки твои?

– Не смей! – Бабка жарче молнии опалила меня глазами, молодыми и темными: – Какие еще тебе сказки?! За ними люди, предки наши, удмурты за ними, навсегда по реке жизни ушедшие\*\*. Ботало ты, ботало, – обругала меня бабка и шагнула в плотную пелену дождя.

– Бабусь! Ну, прости, бабусенька! Не хотел я... не так сказалось, – я ринулся за нею и тут же промок до нитки. Благо, дождь был тёплый и какой-то ласково-мохнатый. Слова не ответив, бабка шла впереди, молчком мы и добрались до дому.

Долго, неделю целую, учила и мучила меня своим молчанием моя бабка. И костерил же я себя за дурь мою: чего, спрашиваю, вздумал над старенькой потешаться? Ни обычаем, ни по честной совести в народе нашем такое не ведется. Но после нашел подход и искупление: наладил её старенькую прялку, отшлифовал стеклом, лаком покрыл. Оттаяла бабуля моя. Но слово крепкое и зарок взяла: не сметь мне больше впредь над старыми обычаями потешаться. Чтобы навек заказал себе собственную удачу и настоящую цену всякого дела свистом по ветру без толку рассеивать. Ну, и дал я ей такое слово. Зарёкся, в общем.

\* \* \*

...Вот и годы мои на осень поворотило. И того дальше. Пали на виски мои небольшие белые снега, да так и не стояли. И студёно стало им, вискам моим, от этого неталого снега времени.

Бабка же стала тяжко и долго недомогать. Сдали силы, надломленные вечным немилосердным трудом. И в войну кипятку хватила, и после горячего досыта пришлось. Вот и приглядела местечко на печи, редко спускаясь теперь по приступам, недостатку тепла в дремлющей крови стала у кирпичей на лежанке попрашивать. Сама говаривала: подо мной-де теперь и скамейка не согреется.

«Время человеку цыплят кормить», – называют эту пору жизни в нашем народе. Только, дескать, сил и осталось, чтобы справлять это нехитрое дело. А у бабули моей даже и на него мочи не стало, сидела в избе. Частенько теперь кутал я ее потеплее, словно младенца, и выносил на руках подышать свежим воздухом. Она стеснялась и охала, крепко

\* Черы – бесы, мелкая нечисть (удм.)

\*\* Древние удмурты верили, что души умерших уходили вниз по рекам, оттого хоронили мертвых ногами к реке.

обнимала мою шею иссохшими, туго обвитыми венами ручками, неприметно поплакивала, но на вольную волю тянулась. И сегодня вот, едва тронуло первым теплом снега, дохнула на окрестности молодым задорным дыханием весна, одел я бабуся поосновательнее, вынес во двор. Да, на глазах иссохло и таяло ее тщедушное тельце, все меньше клочкотало в нём жизни. Кусая губы, пряча глаза, усадил я бабулю в вынесенное из горенки кресло.

– Пошли тебе, Господи, детонька, – торопливо, втягивая воздух, благодарила она. Бабка, ты бабуля моя. Натянулась на острых скулах кожа, глаза поблёлки, словно зола на погасшем костре.

– Ты, детонько, не гляди на меня, старую, ты работу свою работай.

– Хорошо, бабуля.

Взял я топор да калитку, что в огород ведёт, чинить принялся. Худо затворяется, надо боковины пообтесать. Ну, и досточку эту вот не минешь менять. И эту... и вот эту тоже... Словом, вник в дело, озаботился, а бабулю, похоже, поговорить потянуло.

– Дитёнок, слышь-ка чего скажу?

– Ну-ка, ну-ка...

– Это вот с таких, как я людей, раньше, наверное, алангасаров\* понапридумывали. Излом, да вывих, глянуть страшно. Единым днём все в жизни меняется, – конфузливо и виновато усмехается она и – меня ли, себя ли самое? – спрашивает:

– Это сколько же раз калитку ту самую мне отворять да закрывать пришлось? Скрип-скрип, стук-стук...

– Много, бабуль. Несчетно раз. И впредь отворять-затворять будешь, – успокоительно заверяю я.

– Да уж нет, видать, дитенок. Годы не уроды, их, как вон досточки-то твои, не переменишь.

– Что с тобою сегодня, бабушка? Сейчас только жить да радоваться. Ну, и учёные, знаешь, сейчас всем миром бьются, как жизнь человеческую продлить. Учёные головы, сообразят что-нибудь.

– Пуццей продевают. Во здравие. Не мне уж. Устала. Ох, притомилась я, пие – дитенок мой!

– Все ладно будет, бабуля! – я с маху воткнул топор в столб.

– На днях вот в город поедем, в больницу. Это не наш райздрав – врачи хорошие, во всех хворостях разберутся. Гляди, плясать еще пойдешь!

– Отплясала я свое, дитенок... – тихо усмехается бабушка. – Мои дороги домерены, видать. Тело тут еще, а душа.. она, миленький, уж к рекам тронулась, к рекам.

– Фершал, чо ли, позавчера сказал? – паникую я.

– Да уж он-то... Он, может, и знает, да не скажет. Ты мне сказал, ты, детонька!

– Я-а?! Когда? Бабуль, с тобой ладно ли? – я тороплюсь к ней, уязвлённый её словами в самое сердце.

– А сейчас вот сию минуточку и сказал. И твоё ведь, дитёнок, времечко бежит, катится. Свистать-то во время работы забыл, а? – тихо и лукаво смеется она. – Канула твоя песенная пора, время соловьиное. А твоя канула – что уж о моей говорить? Ты слышь-ко, вот бы чего... Ты бы, дитенок, сегодня прекословить не стану я, не стану, ты бы посвистал маленько, а? Ну, хоть нашу «Ялыкe»? Плясовую... Не пообидь, потешь напоследок.

...Бабка ты, бабуля моя. Оно и посвистать бы, потешить – да отчего-то язык присох к гортани?..

\* Алангасары – великаны, отрицательные силы в фольклоре удмуртского народа, видом не очень привлекательные.